

Историк всегда на стороне обычного человека. Не раз он задаётся тяжёлыми вопросами о моральной цене поступков ленинградцев, в том числе тех, кто руководил городом. И здесь ситуация не была одномерной. Яров обнаруживает беспокойство о страдающих горожанах, в частности, в поведении ректора ЛГУ А.А. Вознесенского, заместителя председателя СНК СССР А.Н. Косыгина. Однако чаще он констатирует бессердечие руководителей, их нежелание говорить и знать правду о блокаде. Но и в этом случае в суждениях Ярова нет заданности. Так, говоря о председателе Ленгорисполкома П.С. Попкове, он отмечает в его поведении сочетание привычного бюрократического отношения к людям и эмоциональной человечности (с. 425, 427, 429).

Следует иметь в виду, что правдивое, свободное от мифологизации слово о ленинградской осаде не находило, а часто и сегодня не находит отклика у самих блокадников, причём не только у руководителей, но и у обычного человека, поскольку в его личном опыте «такого не было». В этих случаях действует цензура памяти: сознание блокадника инстинктивно отталкивает, отстраняет от себя «излишне» мрачные, кажущиеся вульгарными и даже оскорбительными описания поведения ленинградцев. Это понятная, объяснимая реакция, впрочем, характерная не для всех переживших блокаду.

Порою кажется, что Яров не видит иного определяющего существование мотива помимо обладания едой, выживания любой ценой. Между тем в городе были и люди, жившие иным: например, знаменитый художник П.Н. Филонов – подлинный интеллигент, человек удивительной скромности и непритязательности. Уважение к моральному закону было для таких людей единственной мотивацией действий. Большинство горожан не могло следовать такой аскетичной позиции – это было слишком трудно. Но подобное поведение являлось внутренним социальным эталоном для многих ленинградцев, которые не ловчили, не просили... а умирали.

Возникает резонный вопрос: не конструирует ли Яров, интерпретируя мысли и действия людей, переживавших муки ада, новую мифологию блокады? Думается, что учёному удастся избежать этого. Вдумчиво препарировав огромный массив свидетельств блокадников, проверяя их сведениями из иных источников, он сумел вычленив в них чрезвычайно важный нравственный смысл ленинградской осады. «Блокадная этика» открывает нам новую, и в значительной мере неизведанную, трудную для понимания тему. Это не просто новая публикация в огромной историографии блокады, но и взгляд в совершенно новой плоскости на существование людей в условиях катастрофы.

### ***Олег Лейбович: Презумпция человечности***

Для С.В. Ярова, исследующего нравственные ориентиры ленинградцев в экстремальных условиях блокады, как кажется, ближе исследовательская стратегия, развиваемая в работах социологов феноменологической школы (А. Шюц, П. Бергер, Н. Лукман и др.). В повседневности, или, по-другому, в жизненном мире людей, выстроенном совместными усилиями относительно устойчивых сообществ, особую роль играют образы, ценности, неписанные нормы, которые позволяют им считать этот мир своим. При этом люди, погружённые в повседневность, не имеют ни потребности, ни возможности для рефлексии над ней. Основы жизненного мира представляются им незыблемыми; правила человеческого общежития – простыми и естественными;

смысл поступков – очевидным. И чтобы растолковать повседневность, люди прибегают, по большей части, к языку обыденной этики, объясняя новичкам или нарушителям, что хорошо, что плохо, что недопустимо, а что, напротив, одобряемо и даже вознаграждаемо. С.В. Яров, интуитивно или вполне сознательно выбравший предметом исследования нравственные коллизии «смертного времени», действует в рамках методологических предписаний всё той же феноменологической школы: для того чтобы понять историческую повседневность, нужно расшифровать или, если угодно, расколдовать те смыслы, которыми люди ушедшей эпохи наделяли и вещи, и практики, и, в конечном счёте, самих себя.

Не знаю, почему автор отказался предьявлять читающей публике свою исследовательскую стратегию. По причине столь распространённой в нашем цеху теоретической беззаботности, по требованию издательства, не желающего обременять книгу методологическим аппаратом, или ещё по каким-нибудь резонам? Зато у читателя появилась возможность заняться увлекательным делом: по языку, характеру изложения, рассматриваемым сюжетам реконструировать теоретическое обоснование исследования. Здесь возможны разные версии; и я далеко не уверен, что автор и другие читатели согласятся с выдвинутой мною гипотезой, согласно которой книга выполнена в феноменологической парадигме. Новое издание монографии полезно предварить теоретическим очерком, в котором было бы внятно и чётко изложено методологическое кредо, понятийный аппарат, исследовательские техники. Тогда бы участники дискуссии на тему исторической повседневности могли бы верифицировать и собственные методы её изучения, и обсудить, как «работает» на историческом материале выбранная теоретическая модель.

Структуры повседневности приоткрываются только на границе повседневного с публичным, отчуждённым, внешне регламентированным социальным пространством, там, где проходит линия напряжённости между ними<sup>33</sup>. И только в ситуации разлома повседневности, её гибели, людям становятся видны приметы разрушенного жизненного мира, которые наполняются дополнительным ценностным содержанием и служат эталоном для конструирования новой повседневности. И тут возникает вопрос, удалось ли ленинградцам в самый страшный период блокады решить эту задачу – выстроить новую повседневность. Судя по некоторым высказываниям автора, он склонен думать, что удалось. Так, он пишет о необходимости «вчувствования» в повседневную жизнь «смертного времени» в сцеплении всех её составляющих» (с. 578), упоминает о жёстком блокадном эталоне (с. 579), употребляет термин «блокадная повседневность» (с. 28) и т.д.

Это суждение историка хочется оспорить. Повседневность не тождественна быту. Скорее, её можно описать как анклав, выгороженный людьми из большого мира, ими же благоустроенный, во всяком случае, обжитый. Для её создания требуются и время, и свободные материальные ресурсы. Наконец, повседневность должна обладать некоторым ценностным потенциалом, хотя бы привлекательностью для её строителей. То, что с беспощадной убедительностью представлено в исследовании С.В. Ярова, по этим критериям в повседневность никак не вписывается: «Вся блокадная повседневность свинцовой тяжестью втаптывала человека в грязь» (с. 600).

---

<sup>33</sup> См.: *Balandier G. Essai d'identification du quotidien // Cahiers internationaux de sociologie. Vol. 74 (1). 1983. P. 5–12.*

Может быть, задним числом выжившие и победившие ленинградцы создали затем воображаемую блокадную повседневность по контрасту с также воображаемой повседневностью тыловой. Читаем у В.С. Высоцкого в «Ленинградской блокаде»: «Было здесь до фига голодных и дистрофиков, // Все голодали, даже прокурор. // А вы в эвакуации читали информации // И слушали по радио обзор Информбюро»<sup>34</sup>.

В блокадной жизни были и героика, и патетика, о которых автор упоминает на первых страницах книги: «В соответствии с этим каноном очевидцы блокады выстраивали структуру повествования и последовательность своих описаний, заимствовали опробованные здесь различные формулировки и риторическую лексику» (с. 8). Замечу только, что противопоставление условий жизни в Ленинграде и на «Большой земле» было не столь очевидным, как это виделось из осаждённого города. Цитирую С.В. Ярова: «Надежды на “чёрный рынок” быстро исчезли. В конце 1941 – начале 1942 г. руководители лабораторий, учреждений и квалифицированные рабочие получали в месяц 800–1200 руб., профессор университета – 600 руб., научные работники среднего звена и бухгалтеры – 500–700 руб., уборщицы – 130–180 руб. Государственная цена на хлеб до января 1942 г. – 1 руб. 90 коп. На рынке же в декабре 1941 г. 1 кг хлеба стоил 400 руб., мяса – 400 руб., масла – 500 руб. Ещё в декабре 1941 г. на рынке стали отказываться продавать продукты за деньги, и в январе–феврале 1942 г. хлеб обычно меняли на ценные вещи (золото, украшения)» (с. 15–16). В городе Молотове, более чем на тысячу километров отстоявшем от линии фронта, колхозники уже в октябре 1941 г. перешли на натуральный обмен: буханку хлеба на штаны, самосад на рубаху и ничего не хотели продавать за деньги<sup>35</sup>. Цены на рынке в областном центре в 1943 г. были не ниже ленинградских: буханка хлеба – 300 руб., вино по 1200 руб. за литр, масло по 1200 руб. за кг<sup>36</sup>. Через год в г. Лысьве девушка, мобилизованная на завод, жаловалась родителям: «Хлеб прикупить не на что, буханка стоит 700 руб. и дороже»<sup>37</sup>. «Смертность такая, что не успевают делать гробы, кладут в общую могилу рядами – и это в глубоком тылу. В феврале померло 1000 человек. Я уже начинаю пухнуть, и сестра тоже пухнет». Эта цитата из письма родным из Лысьвы вошла в сводку Горотдела НКГБ<sup>38</sup>.

Но если нет блокадной повседневности, как же обстоят дела с блокадной этикой? Здесь следует согласиться с мнением С.В. Ярова: речь идёт о конфликтном поле, созданном напряжённостью между традиционной повседневной этикой, сохранившейся от прежних (не столько довоенных, сколько более ранних) времён и «приметами распада нравственных норм в “смертное время”» (с. 52). То, что автор назвал блокадной этикой, на самом деле было противоборством двух противоположных тенденций. Одна из них, скорее всего, преобладавшая, влекла к нравственному одичанию; вторая интегрировала в себе силы сопротивления, защиты укоренённого в обычаях социального порядка. Самым примечательным в этом конфликте было, пожалуй, обнаруженное историком далеко идущее сходство средств: «Жестокость становилась одним из главных

<sup>34</sup> *Высоцкий В.* Ленинградская блокада (URL: <http://geo.web.ru/bards/Visotsky/part189.htm>).

<sup>35</sup> См.: Пермский государственный архив новейшей истории (далее – ПермГАНИ), ф. 105, оп. 7, д. 10.

<sup>36</sup> Там же, оп. 9, д. 151, л. 3–4.

<sup>37</sup> Там же, ф. 85, оп. 26, д. 328, л. 69.

<sup>38</sup> Там же, л. 38.

условий соблюдения моральных заповедей. И она же являлась лабораторией воспитания чѣрствости – того, что размывало эти заповеди» (с. 194).

«Во время катастроф естественным являлось желание людей выработать для себя устойчивые правила поведения... Главным доводом могло стать желание оставаться человеком. Жить для других – этот нравственный эталон не возник в одночасье», – пишет автор (с. 563), вступая тем самым в полемику с интеллектуальной позицией В.Т. Шаламова. Хотя имя писателя ни разу не возникает на страницах «Блокадной этики», об этом свидетельствуют весь строй мысли питерского историка, его ясно обозначенная в самом начале нравственная позиция: «Этика сочувствия требует, чтобы взгляд не останавливался излишне долго на скорбных картинах агонии человеческой личности» (с. 8).

Свою позицию В.Т. Шаламов ясно выразил в эссе, озаглавленном «Что я видел и понял в лагере». Прочитирую несколько фрагментов из него: «Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился зверем через три недели – при тяжѣлой работе, холоде, голоде и побоях... Понял, что дружба, товарищество никогда не зарождается в трудных, по-настоящему трудных – со ставкой жизни – условиях. Дружба зарождается в условиях трудных, но возможных (в больнице, а не в забое). Понял, что человек позднее всего хранит чувство злости. Мяса на голодном человеке хватает только на злобу – к остальному он равнодушен... Понял, что можно жить злобой. Понял, что можно жить равнодушием. Понял, почему человек живѣт не надеждами – надежд никаких не бывает, не волей – какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения – тем же началом, что и дерево, камень, животное»<sup>39</sup>.

Яров также является сторонником реализма, не готовым даже из лучших побуждений «смягчить рассказ»; он намерен вести повествование «без искажений и упрѣков» (с. 5), и это свое кредо он доказывает сотнями страниц, наполненных описанием ужасов блокады, на которых автор не щадит ни своих персонажей, ни читательских чувств. Он признаѣтся, что некоторые блокадные документы «читать... страшно, все эти описания блокадного дна, на котором оказались измождѣнные люди» (с. 268), но и сам читает, и включает в книгу. Всѣ так, но пафос исследователя состоит в ином: «представить и глубину той чаши испытаний, которую ему (ленинградцу-блокаднику. – *О.Л.*) пришлось испытать, и цену, заплаченную за то, чтобы не только выжить, но и сохранить человеческое достоинство» (с. 5). Сохранение человеческого достоинства в бесчеловечных условиях является ключевой темой всей книги, более того, стержнем повествования, вокруг которого выстроен весь сюжет, каким бы страшным он ни был. Яров наделяет героев своего рода презумпцией человечности, видит в них носителей нравственного закона. «Каждый хотел справедливости – но ведь защищая её, человек не мог жить по волчьим законам. Нравственный канон сохранился во всех этих горестных сценах, когда даже “дистрофик” цеплялся за любой довод, чтобы его не втоптали в грязь» (с. 477). И вывод: «Полностью разрушить нравственные традиции было нельзя» (с. 596).

Не мне судить, кто прав в этом заочном споре. Нельзя отбросить доводы ни одного из заочных оппонентов. Можно только вдуматься в них. Проблема поставлена, аргументы приведены, у читателей есть право выбора. Скептик может сказать, что дневники вели люди, как минимум, грамотные, привычные к перу. За ними можно не различить многотысячные массы людей – безмолв-

<sup>39</sup> Шаламов В. Что я видел и понял в лагере (URL: <http://shalamov.ru/library/29/>).

ное большинство, оставившее после себя очень мало свидетельств. Не следует, однако, преувеличивать культурный разрыв между первым поколением советских служащих и специалистов, с одной стороны, и той рабочей или мещанской средой, из которой они не так давно вышли... Даже по строю фраз, по языку дневниковых записей без труда распознаёшь голос улицы, едва затронутой образованием.

Наконец, ещё одна поставленная в книге проблема, которую мне хотелось бы затронуть, касается информационной блокады, выстроенной, как отмечает Яров, во время войны вокруг ленинградской трагедии. Как показывают пермские материалы, достичь её власти всё же не удалось. В другом письме из той же Лысьвы есть прямое сравнение с Ленинградом: «Мы всё удивлялись, как это в Ленинграде люди валялись мёртвые, и никто их не подбирал. Но это был фронт и плюс в окружении, а мы живём в тылу – и та же картина. Идёт человек, упадёт и умирает, и никто не обращает внимания, так валяется дня 3–4 и не подбирают, т.е. не успевают. А на кладбище стоят месяцами не закопанные. Идёшь, хоть ночью или днём один, у тебя отбирают хлеб и карточки. Думала, будет жизнь лучше, а получилось наоборот хуже, и, наверное, тут умрём». «У нас, у Колотовой – нач[альница] аптеки, вымерла вся семья. Вчера схоронили Марусю, а сегодня её дочку. Старшая дочка тоже, наверное, погибнет. 6 покойников за это короткое время. Я же боюсь оставить одного ребенка, но тем не менее такая же участь и меня ждёт. А мне ещё так хочется жить! Мне ещё 21 год, и я совсем не видела жизни. Здоровье неважное, так что боюсь за себя. 2-й Ленинград!!! Положение крайне нетерпимое»<sup>40</sup>.

Из перехваченных писем явствует, что в коллективном сознании советских граждан ленинградская блокада ассоциировалась с массовой смертностью от голода, с незахороненными трупами, в общем, со всем тем, что не должно было выйти наружу из-за блокадного кольца, да и внутри него быть вытеснено пафосной пропагандой, о которой очень выразительно пишет Яров. Каким-то образом достоверная информация распространялась по всей стране. Кто был источником? Эвакуированные ленинградцы, инвалиды войны, раненые из тыловых госпиталей, немецкое радио? Замечу только, что из редакций местных газет приёмники не изымали. И даже в 1945 г. начальник Березниковского горотдела НКГБ сообщал в горком ВКП(б) о том, что среди журналистов есть большая любительница Берлинского радио: «Мария Григорьевна, пользуясь своим допуском к радиоприёмнику, предназначенному для приёма материалов для газеты, систематически слушает заграничные радиопередачи антисоветского характера (на русском языке), после чего содержание их распространяет среди своего окружения»<sup>41</sup>.

Кто бы ни был первоисточником аутентичных сведений о блокаде Ленинграда, важно отметить, что для их доставки в лысьвенские рабочие бараки была необходима разветвлённая социальная сеть или сети, по которым информация распространялась из уст в уста. Таким же образом поздней осенью 1947 г. жители отдалённых поселков узнали и о денежной реформе, и об её конфискационном характере. Впрочем, до сих пор никаких исследований на эту тему отечественные историки, как кажется, не проводили.

Подведём итоги. Книга С.В. Ярова – новое явление в отечественной историографии: по жёсткому реализму исполненной им реконструкции «блокадно-

<sup>40</sup> ПермГАНИ, ф. 85, оп. 26, д. 328, л. 44–44 об.

<sup>41</sup> Там же, ф. 59, оп. 2, д. 166, л. 3–4.

го ада» в академической литературе ей равных нет. Автор владеет редким искусством извлекать из сложно составленных источников смысл человеческих поступков, обнаружить за горестными пометами блокадного быта устойчивую нравственную матрицу, подвергшуюся эрозии под воздействием внешних факторов, но сохранившую своё изначальное ядро. Время покажет, сумеют ли наши историки извлечь уроки из его исследовательского опыта.

### ***Людмила Новикова: Место «блокадной этики» в дискуссиях о войне и сталинизме***

Книга С.В. Ярова, посвящённая первой, самой смертоносной блокадной зиме, впечатляет обилием яркого материала из источников личного происхождения – интервью, дневников, мемуаров. Мысли автора нередко облечены в цитаты, и порой авторский голос неотличим от голосов свидетелей блокады. В этой близости к источникам заключаются одновременно и сильная, и слабая стороны книги.

Подкупает в книге Ярова то, что на её страницах о блокаде во всех подробностях рассказывают реальные люди – большей частью представители ленинградской интеллигенции, – которые с предельной откровенностью описывают жизнь в блокадном городе и собственные попытки сохранить представления об этических нормах в условиях распада человеческой цивилизации. С точки зрения историографии, фокус автора на первой блокадной зиме достаточно традиционен – именно этому периоду посвящено большинство «блокадных» исследований. Внимание исследователя к источникам личного происхождения также продолжает волну интереса к дневникам и мемуарам о войне, результатом которой стала в последние годы публикация всё новых источников по этой теме. Тем не менее историку на основе как уже известных свидетельств о блокаде, так и впервые привлечённых документов удалось создать очень сильный по моральной напряжённости текст. Местами книга читается как роман, герои которого страдают и умирают, но в итоге не утрачивают сочувствия и сострадания, неистребимых даже в нечеловеческих условиях «смертного времени».

Эта моральная напряжённость достигается в книге двумя способами. Первый из них, наряду с упомянутой уже близостью автора к его источникам, заключается в тщательном поиске и отборе материала, предшествовавшем написанию книги. Яров обращался к архивным оригиналам даже опубликованных источников. При этом при сравнении выдержек в книге Ярова с опубликованными версиями обнаруживается, что даже в самых недавних публикациях присутствуют изыятия, за которыми скрываются наиболее болезненные переживания блокадников и их близких<sup>42</sup>. В результате книга Ярова создаёт ощущение предельной искренности и непосредственного соприкосновения с исторической действительностью. Второй способ, которым автор достигает напряжённости изложения, заключается в присутствии в книге некоего мораль-

---

<sup>42</sup> Например, можно сравнить выдержку из дневника И.Д. Зеленской за 25 февраля 1942 г. в книге Ярова (с. 312–313) и недавнюю публикацию этого дневника (*Зеленская И.Д. Дневник. 7 июля 1941 г. – 6 мая 1943 г. // «Я не сдамся до последнего...»: Записки из блокадного Ленинграда. СПб., 2010. С. 78–80*). В опубликованную дневниковую запись за этот день, где описаны в деталях обстоятельства гибели зятя Зеленской, оказалось не включено упоминание о гибели её неродившегося внука.